

В. Левин

Дуэль Лермонтова (Еще одна гипотеза)

В 1843 году друг и родственник Лермонтова А.А. Столыпин, прозванный поэтом «Монго», впервые перевел на французский язык «Героя нашего времени». Столыпин, живший в то время в Париже, увлекался идеями Фурье и свой перевод поместил в фурьеристской газете «La Démocratique pacifique».

В редакционной заметке, анонсировавшей начало печатания в ближайших номерах газеты лермонтовского романа, говорилось о его теме и реакции на него русского читателя и критики. Заметка заканчивалась весьма значительной фразой: «Г. Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными».

Б. Эйхенбаум, а вслед за ним Э. Герштейн с полным основанием утверждают, что материал для этой заметки мог быть сообщен редакции только Столыпину, и последняя фраза отражает, таким образом, его мысли о лермонтовской дуэли.

Попытаемся взглянуть на события не только глазами современного исследователя, но и глазами А.А. Столыпина.

Думается, что при скрещении этих двух точек зрения многое должно проясниться.

Более ста двадцати пяти лет прошло со дня дуэли Лермонтова с Мартыновым, и на протяжении последних семидесяти с лишним лет немало исследователей стремились прочитать эту роковую страницу биографии поэта, однако вряд ли можно считать, что современные ученые по сравнению с первым лермонтовским биографом — П.А. Висковатовым значительно продвинулись в своих розысках. Точно так же, как многое в этой дуэли было неясно Висковатову, точно так же это вынуждена признать и Э. Герштейн — автор последнего и наиболее полного исследования о дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Попробуем на основании имеющихся материалов еще раз воссоздать картину этой дуэли, а главное, подвести итоги тому, что нам известно, а что и сейчас составляет загадку.

Прежде всего — причины дуэли.

Факты таковы.

До последнего приезда поэта в Пятигорск Лермонтов и Мартынов были если не друзьями, то по крайней мере близкими приятелями. Их добрые отношения, сложившиеся еще в юнкерском училище, сохранялись, несмотря на частые и продолжительные разлуки. Дружеские отношения были у Лермонтова и с семьей Мартынова: по свидетельству А.И. Тургенева, поэт в течение всего своего пребывания в Москве в 1840 (сам Мартынов в это время был на Кавказе) постоянно бывал у Мартыновых, предпринимал совместные загородные поездки с сестрами своего будущего убийцы, появлялся в их ложе в театре. К этому времени относится и небезынтересное письмо матери Мартынова к сыну на Кавказ:

«Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава Богу, он скоро уезжает; для меня его посещения неприятны».

Мать Мартынова, по всей видимости, опасалась метких острот несколько невоздержанного на язык поэта, но, безусловно, она ничем не выдала своей неприязни к нему, продолжавшему бывать у них в доме на правах старого друга ее сына.

Одна из сестер Мартынова — Наталья Соломоновна — была в тот период весьма равнодушна к Лермонтову. «Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а быть может, и прикидывался влюбленным», — писал еще в 1890-х автор публикации материалов о взаимоотношениях Лермонтова с семьей Мартынова Д. Оболенский.

«Одной нашей родственнице, старушке, – читаем у него же, – покойная Наталья Соломоновна не скрывала, что ей Лермонтов нравится...»

Вполне естественно, что, только-только приехав в Пятигорск и остановившись в гостинице Найтаки, Лермонтов, узнавший, что и Мартынов в Пятигорске, радостно предвкушает встречу со старым и близким товарищем. Как вспоминает Магденко, приехавший вместе с Лермонтовым и Столыпиным, минут через двадцать после их приезда, «потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь... Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».

Это было 13 мая, а ровно через два месяца — 13 июля — Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль.

В свое время исследователи придавали немалое значение версии о якобы давней и затаенной обиде Мартынова на Лермонтова, обиде, явившейся истинной причиной дуэли. Согласно этой версии Мартынов якобы выступил заступником за свою сестру. Однако современные исследователи убедительно доказали ее несостоятельность. Следует признать безусловным, что к моменту приезда Лермонтова в Пятигорск его добрые отношения с Мартыновым ничем не были омрачены.

В этом вопросе никакой неясности для Столыпина не могло быть.

Говоря о причинах дуэли Лермонтова с Мартыновым, вряд ли следует хоть сколько-нибудь принимать во внимание недокументированные предположения некоторых романистов-биографов, согласно которым Мартынов, зная о резко отрицательном отношении к поэту со стороны высших кругов (о влиянии этих кругов на Мартынова мы скажем дальше), готов был выступить в роли наемного убийцы, надеясь тем самым восстановить свою подорванную карьеру.

Дуэль тяжело каралась в те времена, и Мартынов в первые последуэльные дни лучшим исходом для себя считал солдатскую службу в кавказской армии.

«Что я могу ожидать от гражданского суда? – писал он Глебову с гауптвахты. – Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком другом месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру».

Итак, варианты «Мартынов — заступник за сестру» и «Мартынов — наемный убийца» отпадают.

Что же произошло в те два месяца, которые отделяют приезд Лермонтова в Пятигорск от вызова его на дуэль?

Надо отметить, что насмешливый по своему характеру Лермонтов постоянно выбирал кого-либо из знакомых в качестве мишени для своих острот. «Он не мог жить без того, чтобы не насмеяться над кем-либо; таких лиц было несколько в полку», – писал М. Лобанов-Ростовский. Ф. Боденштедт был свидетелем того, как Лермонтов на протяжении всего обеда вышучивал Олсуфьева и Васильчикова; существуют данные, что немало пришлось претерпеть и молодому офицеру Лисаневичу. По воспоминаниям Н. Сатина, эта черта еще летом 1837 в Пятигорске помешала сближению Лермонтова с Белинским и с кружком ссыльных декабристов.

Летом 1841 мишенью для лермонтовских острот стал Мартынов. Прозвища «горец» и «человек с кинжалом», большая серия карикатур — из самых разных источников узнаем мы о граде насмешек, обрушившихся на голову Мартынова.

Черкеска Мартынова и особенно его кинжал стали притчей во языцех у Лермонтова. Как рассказывал Васильчиков Висковатову, Лермонтов «просто рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает».

Мартынов первое время пытался отшучиваться, но где ему было соперничать с блестящим и остроумным поэтом! В дальнейшем он уже не столь добродушно реагировал на лермонтовские остроты и карикатуры.

Однако шутки продолжались.

И тут вступили в действие новые факторы.

У Лермонтова было немало врагов. Кто они — возможно, мы до конца так и не узнаем. Какими мотивами руководствовались — тоже. Есть подозрение, что интрига против Лермонтова плелась в доме генеральши Мерлини, но кто участвовал в ней — Висковатову это было, по-видимому, известно, однако он предпочел не называть имен.

Очень возможно, что здесь-то и сыграло свою роль III отделение.

Весьма вероятно, что кто-либо из подстрекателей был связан с ведомством Бенкендорфа и действовал согласно полученным инструкциям.

«Как в подобных случаях это бывало не раз, — пишет Висковатов, — искали какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — проучить. “Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась рука на такого человека”».

С Мартыновым дело обстояло иначе. Вынужденный по неизвестным нам причинам уйти в отставку, злящийся на весь свет и скрывающий свои чувства под весьма модной маской разочарованного романтического героя, Мартынов должен был в этом состоянии особенно болезненно воспринимать любые шутки, хоть как-то затрагивающие его честь. Нетрудно было объяснить глупому и мнительному фату, что в глазах света он станет посмешищем, если не найдет способа дать должную отповедь Лермонтову. В сознании Мартынова на одной чаше весов оказались дружеские чувства к Лермонтову, которого он, видимо, искренне любил, а на другой — уязвленное чувство чести. Последнее в конце концов перевесило. 13 июля Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль.

«...На вечере у генеральши Верзилиной, — писал впоследствии князь А. Васильчиков, — Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали».

Э. Шан-Гирей, дочь Верзилиной от первого брака (впоследствии жена А. Шан-Гирея, друга и родственника Лермонтова), сидевшая рядом с поэтом, вспоминает:

«Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову:

“Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“, и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову».

«...Выходя из дома на улицу, — продолжает князь Васильчиков, — Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: “Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах“, на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: “А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения“». (Э. Шан-Гирей пишет, что в передней Мартынов повторил свою фразу: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», «на что Лермонтов спросил: “Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?” Мартынов ответил решительно: “Да“, — и тут же назначили день».)

Примерно так же излагают события А. Шан-Гирей, Лорер и многие другие.

В поведении Мартынова опять-таки пока нет ничего, что могло бы показаться странным Столыпину, достаточно близко знавшему убийцу Лермонтова.

Друзья Лермонтова и Мартынова не придали сколько-нибудь серьезного значения их ссоре. Вероятно, ссора была бы ликвидирована, предпринял Лермонтов хотя бы один шаг к примирению.

Но Лермонтов этого шага не сделал.

Переговоры с Мартыновым тоже ничего не дали. Он продолжал настаивать на дуэли. Возможно, что в это время Мартынов испытывал на себе действие подстрекателей. Возможно, что они убедили его или хотя бы намекали ему, что отказ от дуэли, согласие на примирение без извинения противника выставят его, Мартынова, трусом, сделают посмешищем в глазах «света». На этой стадии развития событий свою черную роль,

видимо, и сыграло III отделение. Э. Герштейн в своей книге приводит примеры того, как III отделение, получив информацию о какой-либо предстоящей дуэли, предотвращало ее. Ведомство Бенкендорфа было, безусловно, осведомлено о готовящейся дуэли Лермонтова с Мартыновым — недаром на следующий после дуэли день Пятигорск был буквально наводнен жандармами, — но не в интересах III отделения было уберечь Лермонтова от опасности.

Так или иначе, но переговоры успеха не принесли, и 15 июля состоялась дуэль.

Друзья Лермонтова и тут были уверены в мирном исходе. Они (включая секундантов) считали, что дуэль будет носить чисто формальный характер: нелепо, чтобы из-за пустяка друзья стрелялись бы насмерть.

«Мы... были убеждены, — писал Васильчиков, — что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать». Васильчиков считал, что и Лермонтов не принимал всерьез предстоящую дуэль.

Пустяковость причины дуэли, дружеские отношения дуэлянтов, а также близость секундантов обоим противникам привели к тому, что не было четко определено, кто вызвавший, а кто вызванный. Не были даже по-настоящему распределены секунданты. Не было на дуэли даже врача. Но самое главное последствие несерьезного отношения секундантов к дуэли — это вопиющее нарушение дуэльного кодекса, нарушение, безусловно повлиявшее на поведение Мартынова: присутствие на дуэли посторонних лиц — зрителей, для которых дуэль была своего рода спектаклем. Видимо, все это и имел в виду сдружившийся с Лермонтовым в Пятигорске Л.С. Пушкин, говоря, что «эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести».

Да, можно с уверенностью говорить о присутствии на месте дуэли, кроме четырех секундантов — Глебова, Васильчикова, Столыпина, Трубецкого, и других лиц. Почти точно установлено еще Дружининым и Висковатовым присутствие Р. Дорохова. Висковатов предполагал, что были и другие, и Васильчиков не отрицал этого. Об этом слышал и дальний родственник Лермонтова Лонгинов, а Арнольди прямо указывал в своих воспоминаниях:

«Я полагаю, что вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помиряются... Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над Мартыновым, о чем он мог узнать стороной, заставило его мужаться и крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова?».

Чувствуя себя словно на сцене, Мартынов, боявшийся обвинений в трусости или в пустом позерстве, вынужден был вести себя решительно: быстрыми шагами, как вспоминает Васильчиков, подошел он к барьеру и выстрелил.

Много позже Мартынов рассказывал родственнику Лермонтова Д. Столыпину, что он «отнесся к поединку серьезно, потому что не хотел впоследствии подвергаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предложением к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам».

Безусловно, для Столыпина-Монго, бывшего очевидцем событий, вся линия Мартынова — и вызов на дуэль, и поведение в ходе ее — не могла не быть ясной.

Что же тогда составляло для него загадку?

Не следует забывать, что в этой истории было два действующих лица: не только Мартынов, но и Лермонтов.

И, проследив линию поведения Лермонтова, которой, к сожалению, по существу, никто из исследователей не уделял достаточно серьезного внимания, можно прийти к выводу, что именно она — почти с самого начала и до конца — не могла не быть загадочной для ближайшего друга и родственника поэта. То, что Лермонтов осыпает Мартынова градом насмешек, не могло удивить Столыпина — он достаточно хорошо был знаком с этой чертой характера поэта. Но почему, видя, что Мартынов — человек,

которого Лермонтов любил и предстоящей встрече с которым радовался, — всерьез обижается, почему и тогда Лермонтов не прекратил своих шуток, — это был первый вопрос, стоявший перед Столыпиным. Ведь Столыпин знал лермонтовскую незлобивость по отношению к друзьям, его доброту. Почему же поэт повел себя по отношению к Мартынову не так, как по отношению к другим жертвам своего остроумия? Лисаневич неизменно отвечал подстрекателям, что он хотя бы потому не может сердиться на лермонтовские шутки, что когда поэт видит, что он, Лисаневич, всерьез начинает обижаться, то немедленно извиняется перед ним. А. Боденштедт вспоминал, что когда однажды князь Васильчиков был уязвлен остротами Лермонтова и сказал ему об этом, «Лермонтова искренне огорчило, что он обидел князя... и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел...».

Почему же поэт повел себя по отношению к Мартынову иначе, чем в других подобных ситуациях?

Далее. На балу у графини Лаваль, где произошла его ссора с Барантом, Лермонтов на первый вопрос своего будущего противника, «правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счет невыгодные вещи», не счел нужным ответить скольконибудь резко или вызывающе. Он спокойно заявил: «Я никому не говорил о вас ничего предосудительного», и лишь когда Барант, настаивая на своем, попытался выговаривать ему, лишь тогда поэт — как человек чести — дал Баранту соответствующую отповедь.

Почему же в ответ на слова Мартынова: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», Лермонтов не только не пытается как-то уладить назревающий конфликт, но и отвечает фразой, после которой Мартынов почти наверняка должен вызвать его на дуэль? Не искал ли Лермонтов по каким-то неизвестным причинам сам повода для дуэли с Мартыновым — таков второй вопрос, который должен был впоследствии возникнуть перед Столыпиным.

В дальнейшем, хотя Лермонтов и не возражает против примирения, он тем не менее не предпринимает никаких попыток к нему. Безусловно, строго придерживаясь правил чести, он, будучи вызванным на дуэль, не мог бы сделать попытки к примирению, но ведь секунданты так и не смогли определить зачинщика, ибо, как писал Васильчиков, «слова Лермонтова “потребуйте от меня удовлетворения“ заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов».

С большой неопределенностью ведет себя Лермонтов и на дуэли. Что мешало ему выстрелить в воздух, если бы он по-настоящему хотел помириться с Мартыновым? — вероятно, и этот вопрос стоял перед Столыпиным.

Здесь необходимо уточнить одно обстоятельство: в лермонтоведческой литературе временами встречается сведение о том, что поэт якобы на месте дуэли заявил Мартынову о своем нежелании драться с ним, но разгневанный Мартынов отверг всякие мирные предложения. Некоторые лермонтоведы (не все из них при этом настаивают на обращении Лермонтова к Мартынову) утверждают, что поэт демонстративно выстрелил в воздух, тем самым предлагая Мартынову последовать его примеру. Хотя все эти утверждения и основываются на документальных данных — на письмах современников Лермонтова, — трудно, однако, с ними согласиться.

Дело в том, что смерть Лермонтова вызвала в прогрессивных кругах русского общества столь широкое и яростное негодование против его убийцы, что истинные обстоятельства дуэли под влиянием этих чувств подчас передавались неточно.

В условиях всеобщего справедливого возмущения рождались все новые и новые подробности трагической гибели поэта, рождались слухи, что Мартынов, отвергнув извинения Лермонтова и застрелив его — безоружного, так как поэт разрядил свой пистолет в воздух, — пытался бежать не то в Одессу, не то к чеченцам и был пойман по дороге. Все эти слухи нашли свое отражение в письмах многих современников поэта. На них-то и основываются некоторые лермонтоведы.

Однако воспоминания и письма родственников Лермонтова, друзей его и вообще сколько-нибудь близких ему людей, находившихся в то время на Кавказских водах, начисто опровергают этот вариант, исходивший или от людей малознакомых или вовсе незнакомых Лермонтову, или от тех, кто не был в это время на Кавказе.

Наиболее подробно воссоздают картину дуэли воспоминания Васильчикова:

«Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходить к каждому на 10 шагов по команде: “Марш”. Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали: “Сходись!” Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил, Лермонтов упал...»

Впоследствии в разговоре с Висковатовым Васильчиков дополнил свой рассказ существенной подробностью:

«Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова, – пишет со слов Васильчикова Висковатов, – вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета».

Выстрелить в воздух Лермонтов не успел...

Итак, все в поведении Лермонтова должно было представлять загадку для Столыпина: почему Лермонтов не прекратил насмешек над Мартыновым, видя, что тот обижается всерьез; почему Лермонтов резко углубил конфликт, когда они с Мартыновым выходили от Верзилиных; почему Лермонтов не сделал попытки примириться с обиженным другом; и наконец, почему он не выстрелил сразу же в воздух? Вот почему Столыпин даже спустя два года после смерти поэта считал, что «причины дуэли остались неясными».

Чтобы объяснить линию поведения Лермонтова, необходимо, на наш взгляд, проанализировать некоторые стороны его романа «Герой нашего времени».

Многие исследователи подробно говорили о печоринском самоанализе как об одной из главных черт его характера. Однако самоанализ Печорина никак нельзя рассматривать отдельно, как самостоятельную черту. Это часть значительно более сложного, более глубокого явления в его характере, одна из двух сторон того замечательного мастерства, которого достиг он в искусстве психологического анализа: с не меньшим успехом, чем свой собственный, анализирует Печорин и характеры окружающих, он абсолютно точно предугадывает многие их поступки. И дело не только в результативности анализа. Важнее другое: анализ психологии окружающих занимает по своей значимости в жизни Печорина не меньшее место, нежели самоанализ.

Для людей печоринского склада — эта мысль неоднократно варьируется в романе — условия жизни в России 1830-х годов исключали какую-либо возможность общественной деятельности. Обреченные на прозябание, они вынуждены искать какие-то иные, необщественные выходы для бурлящих в них духовных сил.

«...Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, – записывает в своем дневнике Печорин, – но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает...»

Печорин совершенно трезво оценил ситуацию: единственная точка приложения его духовных сил, единственная сфера, где возможна борьба, где возможны победы, — это стратегическая игра с окружающими, подчинение их своей воле. Победы в этой игре, казалось бы, должны удовлетворять его самолюбие, они должны быть для него непрекращающимся свидетельством незаурядности его личности, но удовлетворение или бывает очень коротким, или не наступает вообще. Более того — победа подчас приносит разочарование: когда результаты налицо, у Печорина окончательно спадает повязка с глаз — иллюзорность деятельности, борьбы становится особенно наглядной при виде ничтожности результатов.

«Неужели мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды?» — думает Печорин в преддверии одной из таких побед.

И тем не менее он не может отказаться от этой игры: только она вызывает у него духовный подъем, концентрацию всех его сил — интеллекта, воли. Только она дает ему — пусть временно — сознание своего превосходства над другими, ощущение необъятности сил, таящихся в его душе. Это ощущение ему необходимо: оно является подтверждением того, что не в нем, не в его заурядности, а в обстоятельствах заключается причина его общественного прозябания.

И в этой игре, где главным оружием является интеллект, а необходимейшим компонентом его — умение обобщать все эпизоды своего богатого жизненного опыта, — в этой игре победа зависит от точности психологического анализа.

«Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать разговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью!» — записывает Печорин в своем дневнике.

Да, для того, чтобы одерживать победы в такой игре, необходимо быть незаурядным психологом-аналитиком. И в жизни Печорина психологический анализ занимает важнейшее место. Познать себя и познать других — в этом заключается, пожалуй, главный жизненный интерес Печорина. Его равнодушие к какой бы то ни было общественной деятельности — равнодушие вынужденное — и вместе с тем невозможность и нежелание жить так, как живут другие, — делать карьеру в ненавистном, полном фальши обществе или мирно, ни о чем не думая, коротать свои дни у семейного очага, — все это сосредоточило лучшие силы его блестящего интеллекта на познании человека. Интерес к психологии людей проникает все существо печоринского интеллекта, действуя постоянно — ежечасно, ежеминутно.

Этот интерес выражается не только в логическом, но и в экспериментальном психологическом анализе.

Прекрасной иллюстрацией последнего являются три эпизода повести «Фаталист».

В пари, которое держат Печорин и Вулич, стороны преследуют совершенно различные цели.

Вулич настолько глубоко верит в предопределение, что совершенно безбоязненно рискует своей жизнью. Цель предлагаемого им пари (помимо материальной стороны) заключается в том, чтобы доказать собравшимся существование предопределения. Ради этого он ставит свой опыт.

Ради чего принимает пари Печорин? Ведь он знает, что при любом исходе его будут обвинять в бессердечии и эгоизме. Может быть, он хочет проверить, существует ли предопределение?

Отнюдь нет. Вне зависимости от результатов опыта у него твердое мнение на этот счет. Печорина в этом пари интересует вовсе не содержание его, не объект, а субъект — Вулич. Печорину не важно, заряжен пистолет или нет, — его как психолога-экспериментатора интересует другое: решится ли верящий в судьбу человек выстрелить себе в лоб. От такого, пожалуй, неповторимого опыта Печорин не может отказаться.

Необходимо отметить, что ради психологического эксперимента Печорин готов рисковать и своей жизнью. Что заставляет его броситься в окно навстречу пуле и обезоружить зарезавшего Вулича казака? Необходимость? Ее нет. Желание отомстить за Вулича? Тоже нет — они вовсе не были друзьями. И уж отнюдь не вера в предопределение, хотя Печорин и записывает в своем дневнике, что «вздумал испытать судьбу». Объяснение поступка Печорина находится в следующем: в этот момент объектом его психологического эксперимента становится казак. Печорин, заглянув в окно, «не прочел большой решимости» в его «беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели позже, когда он совсем опомнится».

И чтобы убедиться в правильности своего психологического анализа, Печорин рискует жизнью. Совсем не как Вулич испытывает он судьбу. Вулич делает это слепо, в то время как в основе действий Печорина лежат точный расчет и анализ.

Эксперимент, чисто внешней стороной которого является проблема существования предопределения, продолжает Печорин и дальше: вернувшись в крепость, он спрашивает мнение Максима Максимыча на этот счет. Безусловно, его не интересует суть мыслей доброго, но недалекого штабс-капитана, даже не знающего значения слова «предопределение». Его занимает лишь, как относятся к этому предмету — предопределению — люди типа Максима Максимыча.

Но наиболее ярко проявляется мастерство печоринского психологического анализа в повести «Княжна Мери».

Печорин, видимо, очень гордится этим своим качеством. Присутствие его в других является в известной мере определяющим в их оценке лермонтовским героем. В его понимании поэтичность (в самом широком смысле) души человеческой невозможна без постоянной склонности к психологическому анализу.

Грушницкий, с точки зрения Печорина, вообще не способен на какой-либо психологический анализ, и, следовательно, в его душе, как пишет Печорин, «ни на грош поэзии». Именно поэтому он смешон и ничтожен в глазах Печорина, быть может, именно поэтому Печорин избирает его жертвой в своей игре.

В чем заключается эта игра?

Все началось с забавы. Импозиантность Грушницкого — его внешность романтического героя, исполненная разочарования фраза («Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом») — все это произвело на княжну Мери немалое впечатление.

А Печорин скучает. Ему, по существу, нечем занять себя на водах. И тут перед ним открывается возможность вдоволь посмеяться, позабавиться — дать возможность Грушницкому добиться расположения Мери, ни в коем случае не мешать ему в этом, а потом разом сбросить романтического юнца «с небес на землю».

Итак, жертва игры — Грушницкий. А Мери? На первой стадии Мери не играет самостоятельной роли в этой истории. Она или любая другая на ее месте — Печорину это безразлично. Ему важен Грушницкий. Но низвергнуть Грушницкого можно, только заняв в сердце княжны место, на которое тот рассчитывает. Так оказывается вовлеченной в довольно жестокую игру и ни в чем не повинная юная княжна.

«Бедный страстный юнкер», как называет Грушницкого в своем дневнике Печорин, ни о чем не подозревает. Он хвастает Печорину своими успехами и даже в какой-то мере смотрит на него свысока — как же, ведь он принят у Лиговских, в то время как Печорин своим поведением закрыл перед собой, казалось бы, навсегда двери их гостиной. Грушницкий не подозревает, как развлекает весь этот спектакль Печорина, у него и в мыслях нет, что Печорин играет им как кот с мышью: то он высказывает предположение, что княжна влюблена в Грушницкого, и несчастный юнкер краснеет до ушей и надувается от самолюбия, а через пять минут Печорин длинной тирадой разрушает надежды Грушницкого, и последний в бешенстве ударяет кулаком по столу и буквально мечется по комнате. Наблюдая это, Печорин «внутренне хохотал и даже два раза улыбнулся».

Можно привести еще немало примеров того, как «развлекается» Печорин, следя за каждым «движением души» несчастного Грушницкого. Для него как для психолога вся линия поведения его жертвы представляет интерес; правда, не как познание нового, а как подтверждение правильности своих психологических выкладок. Ему доставляет удовлетворение сознавать, что Грушницкий — марионетка в его руках, что он может не только предвидеть все его поступки, но и, по желанию, вызывать в нем любые эмоции (гнев, радость, смущение и т. д.).

Параллельно с этим Печорин ведет игру с Мери.

«Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы», — записывает он в дневнике. С первого взгляда поняв, что на воображение Мери больше всего подействует романтика, Печорин надевает на себя романтические одежды, но, разумеется, не те, которые носит Грушницкий, — одежды сентиментального, восторженного и вместе с тем вызывающего сочувствие юнца. Холодным и сильным героем байроновских поэм предстанет он перед Мери. Печорин отказывается просто познакомиться с ней. «Помилуйте, — смеясь, говорит он Вернеру, — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...» А пока что он презрительно лорнирует Мери, всячески вызывает ее раздражение и гнев. Началом перелома в их отношениях, конечно, является сцена на балу, когда случай помог Печорину выступить благородным заступником княжны. Но только началом. Потребовался еще целый ряд точно рассчитанных тактических ударов, чтобы выиграть эту буквально шахматную партию: то он запутанной фразой дает княжне понять, что она ему давно нравится, то подчеркнута равнодушен к ее пению; вот он изображает притворную досаду, а вот — принимает смиренный вид и оставляет ее наедине с Грушницким и т. д. Но самое главное — он рассказывает ей «некоторые из странных случаев» своей жизни, и, как записывает в дневнике, «она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой...». Итак, Мери попала под власть могучего печоринского интеллекта. И тут следует завершающий удар, после которого Мери буквально готова броситься в объятия Печорина. Это знаменитый монолог о том, как люди читали на лице юного Печорина «признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали, и они родились» и т. д. Монолог этот он начинает, «приняв глубоко тронутый вид», закончив же, внимательно следит за реакцией княжны. Если на первой стадии своих отношений с Мери Печорин выступал лишь как опытный охотник, знаток женской психологии, идущий по знакомой дороге, то в дальнейшем он в значительно большей степени выступает уже как психолог-экспериментатор. Дело в том, что, узнав Мери ближе, он понял, что перед ним отнюдь не обыкновенная, московская романтически настроенная светская барышня, не пустынькая кокетка, а человек очень глубоких и ярких духовных качеств. И Печорин уже по-настоящему заинтересован княжнью, Грушницкий — фигура ясная для него — отступает на второй план, предметом игры, предметом психологического анализа и даже эксперимента становится более интересная и менее изведенная натура — княжна Мери. Теперь уже не как охотник (ибо цель достигнута), а лишь как экспериментатор следит за нею Печорин. И даже то, что в душе его пробудились сложные чувства к княжне (здесь и ответная, пожалуй, любовь, и даже пусть незначительные, но колебания — жениться или нет), все равно ничто не может даже на один миг помешать его деятельности психолога-экспериментатора. Опыт с княжнью достигает кульминации в тот день, когда при переезде через быструю горную речку Мери становится дурно. Вот как рассказывает об этом сам Печорин:

«...Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

— Смотрите вверх, — шепнул я ей, — это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете!.. боже мой!..

Я не обратил внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щеки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения».

Как видим, не как донжуан, а лишь как экспериментатор выступает здесь Печорин.

В заключительной части повести предметом эксперимента вновь становится Грушницкий. Эта часть имеет самое непосредственное отношение к судьбе самого

Лермонтова, и поэтому проследим содержание некоторых ее эпизодов наиболее подробно. Грушницкий, до этого не представлявший в психологическом отношении какой-либо загадки для Печорина, теперь, после своей неудачи, начинает вызывать его интерес. Печорин внимательно следит за борьбой совести с самолюбием, которая происходит в душе Грушницкого.

Вот он случайно становится свидетелем гнусного предложения драгунского капитана, чтобы Грушницкий, придравшись к чему-нибудь, вызвал Печорина на дуэль на шести шагах, но... с незаряженными пистолетами (об этом, разумеется, не должен знать Печорин, который, таким образом, станет жертвой мистификации).

«Я с трепетом ждал ответа Грушницкого... Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею», – записывает в дневнике Печорин.

Грушницкий соглашается... Спустя четыре дня Печорин в ресторане опять-таки случайно слышит рассказ Грушницкого о том, как ночью он сам видел, что Печорин выходил от Мери.

Печорин требует, чтобы Грушницкий отказался от своих слов. «Поддерживая ваше мнение, – говорит он, – вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью».

«Грушницкий, – читаем мы в дневнике Печорина, – стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна».

Вызов на дуэль состоялся.

Далее Печорин и Вернер узнают, что на этой дуэли заряжен будет только пистолет Грушницкого.

«Должны ли мы показать им, что догадались?» – спрашивает Печорина Вернер. «Ни за что на свете, доктор», – категорически отказывается Печорин.

Решение его закономерно — ведь для него начинается самый интересный, пусть рискованный, но зато невиданный и неповторимый психологический эксперимент...

Противники сходятся на месте дуэли. И здесь Печорин делает сильнейший ход: он предлагает перенести дуэль на маленькую площадку над пропастью, так, чтобы даже легкое ранение стало бы смертельным. Тем самым он лишает Грушницкого последней лазейки, последней возможности компромисса в борьбе совести и самолюбия.

Грушницкий колеблется. «Посиневшие губы его дрожали».

Следует отметить, что на этой стадии эксперимента Печорин преследует и конкретную цель: вынудив Грушницкого действовать решительно, он получает моральное право действовать столь же решительно — в том, разумеется, случае, если Грушницкий не откажется от своего подлого плана.

«Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать!..»

Это пока все предположения. Посмотрим, как развивались события дальше.

И при жребии Печорин предоставляет инициативу Грушницкому: он ждет, чтобы тот назвал сторону подброшенной кверху монеты.

Грушницкий получает право стрелять первым.

«Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного, – пишет Печорин, – я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?... Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух!»

Это опять-таки предположение, и ему не суждено сбыться — правильным было первое предположение.

Вернер хочет разоблачить заговор, но Печорин все еще не позволяет ему сделать это. «Вы все испортите», – говорит он, рискуя ради своего опыта жизнью.

«Грушницкий стал против меня, – вспоминает Печорин, – и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.
...Вдруг он опустил дуло пистолета и, поблуднев как полотно, повернулся к своему секунданту.
— Не могу, – сказал он глухим голосом.
— Трус! – отвечал капитан.
Выстрел раздался».

Противники меняются местами. Печорин, продолжает следить за каждым «движением души» Грушницкого.

«Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку».

После того как Печорин разоблачает заговор, Грушницкий стоит, «опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет из рук доктора. – Ведь ты сам знаешь, что они правы».

Печорин ставит еще один опыт. Вовсе не из милосердия — слишком был он взбешен, — предлагает находящемуся в почти безнадежном положении Грушницкому возможность остаться в живых. Признание Грушницкого дает ему моральное право на это. «Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все», – говорит Печорин. В борьбу совести и самолюбия в душе Грушницкого вступают два новых начала: возможность жить — с одной стороны, и с другой — ненависть к Печорину, морально уничтожившему его и в истории с Мери, и здесь, на дуэли. Последний эксперимент. Самолюбие и ненависть побеждают. Лицо Грушницкого «вспыхнуло, глаза засверкали».

«— Стреляйте! – отвечал он. – Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...»

Итак, ради психологического эксперимента Печорин балансирует даже на грани смерти...

Эта — можно с полным правом сказать — главная черта печоринского характера имеет самое что ни на есть прямое отношение к трагическому финалу жизни Лермонтова. Если понимать слово «автобиографизм» в узком смысле, то есть как отражение в художественном произведении каких-либо событий, случившихся с автором или его знакомыми, то вряд ли есть какие-либо основания считать «Героя нашего времени» автобиографическим романом: в сложной биографии главного героя исследователи не находят ничего общего ни с кем из знакомых Лермонтова, ни тем более с ним самим. Действительно, ведь нельзя же считать образ Печорина слепком с Лермонтова только потому, что оба они — и Лермонтов, и его герой — были переведены из Петербурга на Кавказ, или потому, что оба в совершенстве овладели горской посадкой при езде верхом! Больше же никаких сходных фактов в биографиях Печорина и Лермонтова нет. Да и характер Лермонтова, вырисовывающийся перед нами в воспоминаниях современников поэта, имеет не много общего с характером Печорина.

Весьма показательна резкая и возмущенная лермонтовская отповедь тем критикам, «которые очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых».

«Старая и жалкая шутка! – писал Лермонтов в предисловии ко второму изданию своего романа. – Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегает упрека в покушении на оскорбление личности!»

Но если подходить к автобиографичности произведения шире — то есть не обязательно искать сюжетные параллели, а распространять это понятие и на самовыражение автора в герое, то в этом смысле роман «Герой нашего времени» безоговорочно попадает в круг автобиографических произведений: не отдавая, видимо, себе в этом отчета, Лермонтов вложил в образ Печорина очень много своего, личного, такого, о чем, быть может, не подозревал в себе ни он сам, ни его близкие.

И, несмотря на огромное различие в биографиях Печорина и Лермонтова и внешнюю несхожесть их характеров, оказалась у них и общая очень существенная для обоих черта — это склонность к психологическому анализу.

Один из первых лермонтовских биографов, А. Дружинин, встречавшийся со многими знакомыми поэта, писал, что Лермонтов, «соприкасаясь со всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем...».

«Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами», — писал еще при жизни Лермонтова в одном из своих писем Ю. Самарин.

Но если у Печорина психологический анализ не нашел себе какого-либо общественного применения, то лермонтовский интерес к психологии человека находил свое выражение во всем его творчестве. Большая часть творчества поэта проходила в русле романтизма, а, как известно, одной из главных черт этого направления был Интерес к внутреннему миру человека. Но и в дальнейшем, отходя от романтизма и создавая свой реалистический роман, Лермонтов сохранил верность этой принесенной из романтизма и типичной для него черте: исследователи «Героя нашего времени» неоднократно отмечали как важнейшую особенность лермонтовского реализма то, что главный объект художественного внимания Лермонтова — это внутренний мир героя времени; его психология.

Итак, не только для Печорина, но и для самого Лермонтова очень характерен интерес к психологии человека. Оба они — и герой и автор — исследователи человеческой души. Однако в отличие от Печорина, являющегося не только психологом-аналитиком, но и психологом-экспериментатором, Лермонтов ограничивается лишь первой сферой. Его роман «Герой нашего времени» — свидетельство огромного мастерства психологического анализа. Но что касается второй сферы — психологического эксперимента, — то в жизни Лермонтова (до создания им «Героя нашего времени») никаких фактов, свидетельствующих о подобного рода деятельности, мы не обнаруживаем.

Но вот Лермонтов выпускает свой роман. И тут происходит чрезвычайно интересное явление. В широко известной восточной сказке джинн, заточенный в бутылку, вселяется в освободившего его человека и подчиняет себе его. Нечто подобное произошло и с Лермонтовым: сойдя со страниц романа, Печорин словно начинает воздействовать на поступки и мировосприятие автора.

Предпосылки для такого влияния были. Не следует забывать, что Лермонтов был очень молод, что характер его, как мы видим из воспоминаний современников, был еще недостаточно устойчив и полон противоречий, так как находился, видимо, еще в процессе формирования. В то же время Печорин, человек, умудренный значительно большим жизненным опытом, закаливший свой характер в различных бурях, уже прошедший в своих отношениях с обществом тот этап, на котором пока еще находился Лермонтов, натура в данный момент, пожалуй, более сильная, чем Лермонтов.

Очень существенно также, что герой и автор находятся по своему интеллекту на одном уровне. Лермонтов создал образ человека, в этом плане ничем не уступающего ему самому. Интеллектуальная близость Печорина и Лермонтова такова, что, встретиться они в жизни, между ними вполне могли бы возникнуть близкие отношения — в тех пределах, разумеется, в каких допустил бы их Печорин, который, безусловно, был бы в этой дружбе старшим.

Важно и другое. В представлении Лермонтова Печорин вовсе не был «отрицательным героем», типичным сыном века, зараженным всеми его болезнями и пороками.

Печорин находится в оппозиционном положении по отношению к своему времени, по отношению к тлетворному духу николаевской России. При всей своей силе он бессилен перед временем. Но для Лермонтова важно то, что Печорин, который имеет все возможности (имя, состояние, способности), чтобы сделать карьеру в общественных условиях того времени, не идет на это, сознательно предпочитая общественное

прозябание. В этой абсолютной бескомпромиссности Печорина выражен определенный лермонтовский идеал: поэт так же относился к своей карьере в николаевской России, как и его герой.

И наконец, последнее: в характерах героя и автора была очень существенная для обоих общая черта, которая вполне могла послужить своего рода плацдармом для возникновения и роста влияния Печорина на Лермонтова, для развития общности в их характерах: это глубочайший интерес обоих к психологии человека. При том — одинаковом — отношении к русскому обществу 1830-х, которое отличало и Лермонтова, и Печорина, эта черта приобрела жизненно важное значение для них обоих.

По этой линии вполне могло развиваться влияние героя на автора.

Мы не знаем, когда впервые возникло это влияние: в процессе ли работы Лермонтова над романом или когда «Герой нашего времени» был уже закончен. Но, в сущности, это не имеет значения. Важен самый факт: создание оказывает влияние на создателя!

Вряд ли сам Лермонтов сознавал развивающуюся в его характере близость Печорину. (Эту близость отметил Белинский, посетивший в апреле 1840 находившегося под арестом поэта.)

И тем не менее...

Вспомним, как после смерти Бэлы Печорин молча сидит и что-то чертит палочкой на песке. Максим Максимыч хочет утешить его, он начинает говорить какие-то приличествующие случаю слова, и тут Печорин поднимает голову и смеется. «У меня мороз пробежал по коже от этого смеха», — рассказывал впоследствии Максим Максимыч.

Вряд ли у нас может возникнуть какое-либо сомнение в характере этого смеха. Печорин тяжело переживал смерть Бэлы, он был долго нездоров, исхудал. И даже при упоминании о Бэле спустя много лет он побледнел и отвернулся, хотя тотчас же принужденным зевком постарался скрыть свои чувства. И «дьявольский» смех Печорина после смерти Бэлы — это не что иное, как поза чуждого сентиментальности, сурового романтического героя, никогда и никому не выдающего своих переживаний.

И вот совершенно аналогичная ситуация.

По дороге в свою вторую кавказскую ссылку в мае 1840 Лермонтов останавливается в Москве. Здесь он проводит больше двух недель и все это время постоянно бывает у Мартыновых, ухаживает за Натальей Соломоновной. Как мы уже упоминали, Наталья Мартынова признавалась своей родственнице, что была влюблена в Лермонтова. Отнюдь не в радостном настроении покидает поэт Москву. Все близкие понимают его состояние и переживают за него. И вот, когда Лермонтов пришел попрощаться с Мартыновыми, взволнованная Наталья Соломоновна вышла проводить его до лестницы. Видимо, она хотела сказать ему какие-то сочувственные слова, но тут «Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую».

Это тот же «дьявольский» смех, которым смеялся Печорин после смерти Бэлы. Лермонтов, видимо, начинает перенимать даже манеру поведения своего героя.

Дальше это влияние, по-видимому, становится все сильнее. Этому, безусловно, способствует общность положения Лермонтова и Печорина, общность, возникающая уже после создания романа.

Печорин — изгнанник. За какую-то «провинность» он переведен (фактически выслан) на Кавказ. Общественное положение его здесь незавидное. Но главное — он отлично сознает, что никакого будущего в условиях декабрьской России у него нет, что все силы, которыми так щедро наделила его природа, пропадут попусту.

А Лермонтов? Поэт-изгнанник, мечтающий об отставке, о литературной деятельности, вынужденный по воле презираемых им социальных верхов подставлять свой лоб пулям горцев. Удары со стороны правящей верхушки сыплются на него один за другим: Николай вычеркивает его из списка награжденных, хлопоты родных и друзей о его возвращении из ссылки терпят неудачу, и даже отпуск его прерван бессмысленным и

грубым приказом: в 48 часов покинуть Петербург и вернуться в Тенгинский полк. Рушатся все надежды...

По отношению к николаевской государственной машине, по своему социальному положению Лермонтов оказался в тех же условиях, в которых находился его герой.

Поэт не мог не осознать, не думать об общности своего и печоринского положения. И это должно было вызвать усиление печоринского влияния на него.

Особенно резким и роковым для поэта образом проявилось оно в истории с Мартыновым. Документальных данных об этом мы не имеем. Поэтому, с точки зрения строго документальной, наша версия может носить лишь гипотетический характер, без серьезной надежды когда-либо стать абсолютной истиной.

Но если под предлагаемым углом проследить все пятигорские события, то ни один, даже самый мелкий факт не вступает с этой версией в противоречие. Возникает ситуация, аналогичная теореме о равенстве треугольников, когда — при известном условии — после наложения одного треугольника на другой все их точки совпадают.

В данном случае возьмем на себя смелость принять за известное факт влияния Печорина на Лермонтова, или — если говорить мягче — факт возрастания близости автора герою, и тогда вся линия поведения поэта — то есть единственная область, представлявшая загадку для Столыпина, — становится ясной.

Все, как в истории Печорин — Грушницкий, началось с забавы.

Лермонтов, приехав в Пятигорск, с радостным нетерпением ждет Мартынова. Их первая встреча. Как должен был отнестись к Мартынову Печорин? Да, Печорин, именно Печорин, а не Лермонтов! Ведь Печорин видит Мартынова, можно сказать, впервые (после создания романа Лермонтов мог видеть Мартынова лишь в походных условиях, и то изредка: они служили в разных частях), в то время как у Лермонтова с ним уже давно сложившиеся дружеские отношения. Но сейчас Лермонтов уже не тот, что раньше. Он уже почти тождествен Печорину, который влияет на него, заставляет поэта смотреть на мир его, печоринскими, глазами. И оттого, как воспринимает Печорин Мартынова, зависит лермонтовское отношение к своему старому товарищу.

Безусловно, Печорин может воспринять Мартынова только иронически — столько общего между Мартыновым и Грушницким. Оба они — и Грушницкий и Мартынов — избрали линией своего поведения постоянную позу романтического героя, по выражению Печорина, «важно драпирующегося в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Печорин знал цену тому показательному разочарованию в жизни, в которое играли и Грушницкий и Мартынов. Он знал, что эта поза ничего общего с истинно романтическими героями — героями поэзии Байрона и Рылеева — не имеет.

Внешний облик Мартынова тоже отличается мнимым романтическим характером. «Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, прическу а la мужик и французские бакенбарды с козлиным подбородком», — писал К. Любомирский о Мартынове.

Как не вспомнить здесь эпизод из «Героя нашего времени» — шумную кавалькаду, во главе которой едут Грушницкий с Мери. «Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении». Смешон, разумеется, не своим спутникам, а Печорину. И вот, когда в таком же героическом облачении щеголяет Мартынов, то естественно, что у Лермонтова, смотрящего на мир глазами Печорина, он может вызвать только ироническое отношение.

И так же, как показательный романтизм Грушницкого явился причиной того, что Печорин именно его выбрал для своей забавы, так и позерство и фатовство Мартынова привлекли к себе лермонтовскую иронию.

Лермонтов всячески вышучивает Мартынова. Тот всерьез обижается и, видимо, не раз просит Лермонтова прекратить свои шутки. Для Лермонтова Мартынов не только играющий в романтизм позер, но и старый, пусть недалекий, друг — Мартышка, Мартыш.

Но для Печорина этой второй части в Мартынове не существует. И может быть, если бы не Печорин, Лермонтов оставил бы Мартынова в покое (так, как он оставил в покое Васильчикова или извинился перед Лисаневичем). Он даже перестает открыто вышучивать Мартынова, видимо, в какой-то мере щадит его (Лермонтов не показывает ему карикатуру, которую они нарисовали вместе с Глебовым), но полностью удержаться от шуток поэт не может — этого ему не позволяет сделать Печорин.

Но все это пока забавы. Забавы Печорина и Лермонтова. Совершенно иной характер приобретает отношение Лермонтова (и Печорина) к Мартынову на роковой вечеринке у Верзилиных. И тут, еще в начале вечеринки, вышучивая Мартынова в разговоре с Э. Шан-Гирей, Лермонтов пока только забавляется. Перелом в отношении Лермонтова к Мартынову наступает в ту минуту, когда гости расходятся и в передней Мартынов повторяет свою фразу. В душе Лермонтова просыпается психолог-исследователь. Здесь уже его словами и поступками полностью руководит Печорин. И поэт начинает действовать по-печорински. Теперь уже нет места каким-либо дружеским отношениям. Лермонтову интересно: а как будет вести себя Мартынов, хватит ли у этого позера духу вызвать его на дуэль? А может быть, Лермонтова интересовало другое: что победит в Мартынове — оскорбленное самолюбие или чувство дружбы? Так или иначе, но вся дальнейшая линия поведения поэта показывает, что с этого момента Мартынов становится для него уже не объектом забавы, а объектом психологического эксперимента. И если раньше психологическое изучение окружающих ограничивалось у Лермонтова психологическим анализом, то теперь — под влиянием Печорина — поэт становится на путь практического эксперимента, ради которого он, как и Печорин, готов рисковать даже жизнью. Печорин вывел ученого-аналитика из-за письменного стола, и тот ставит опаснейший опыт: он отказывается прекратить насмешки. «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» — спрашивает Лермонтов. (Напоминаем, что, по другому источнику, он сказал: «А если не любите насмешек, то потребуйте у меня удовлетворения»). Смысл лермонтовской фразы в обоих вариантах один и тот же.) Мартынов вызывает Лермонтова на дуэль...

Принципиально неверным было бы полагать, что в сознании Лермонтова в этот момент Мартынов отождествлялся с Грушницким и что поэт хотел проверить на собственной практике те ситуации, через которые прошел его герой.

Мартынов мог напоминать Лермонтову Грушницкого лишь на той стадии, когда был объектом забавы. Как объект же эксперимента он являлся для Лермонтова новой, неизведанной областью.

Однако вернемся к событиям.

И в последующие дни поэт не делает никакой попытки уладить конфликт (хотя против примирения и не возражает). Быть может, Лермонтов знал, что Мартынова всячески подстрекали, но ведь от этого обстоятельства эксперимент для него становится интересней!..

Опыт продолжается и на месте дуэли. Лермонтов говорит своему секунданту, что не намерен стрелять в Мартынова (действительно, ведь злобы к нему поэт не питает). Но Мартынов-то не знает намерений Лермонтова. В нем борются (не слабее, чем в Грушницком) самые разные чувства: с одной стороны, его подстрекают, и он боится стать в глазах многочисленных свидетелей дуэли трусом; с другой стороны, перед ним старый друг. И невозможно, чтобы — при всей своей ограниченности — он не сознавал, на кого поднимает руку!

И если бы Лермонтов выстрелил в воздух, то, может быть, и Мартынов все же последовал бы его примеру. Но Лермонтов-экспериментатор по-прежнему предоставляет Мартынову инициативу, внимательно, с любопытством следя за каждым его движением.

Лермонтов ведет себя с истинно печоринским хладнокровием. Именно Печорин «заставляет» его неподвижно стоять, взведя курок, подняв пистолет дулом вверх, «заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста».

Мартынов быстрыми шагами идет к барьеру. Сомневаться не приходится — сейчас он будет стрелять.

Ну что ж, Мартынов ясен — и Лермонтов, с презрением глядя на него, поднимает руку, чтоб выстрелить в воздух.

Выстрелить в воздух поэт не успел...